

ТЫСЯЧА ТЕХНОЛОГИЙ: ФАНТАЗИЯ О РИЗОМЕ, ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕРНА И СМЕРТЬ СПОНТАННОСТИ

Дмитрий Бойченко¹

Abstract

One of the very popular statements about contemporary cyberspace is that internet has a rhizomatic structure. In this article I will provide arguments against this point of view by describing contemporary state of IT as a continuation of modern approaches. Rhizome is a very popular postmodern concept of Gilles Deleuze and Félix Guattari. Authors suggest an alternative model of reality's logic. They want to replace the old and obsolete modern hierarchical solid structure with a flexible model. The new model opposes everything we call organization (bureaucracy, institutions, etc.) with new flexible and unpredictable scheme. This universal type of future includes also time and space relationships in general. It neglects definitions of «space», «past» and «future». Basically rhizome is all about relativization and decentralization of everything we know as modern. This point of view is very similar to the manifest of internet in particular and IT in general in the 1990s. Technological evangelists of that time interpreted technologies as a new teleology of human kind. They believed that technologies can and should challenge structure of everything including human body. But today as Paul Virilio argued we live in the world of consumer technologies that are far from both utopias of rhizome and technological evangelists. Contemporary IT world is overwhelmed with structural rational mechanisms. Rhizome as a concept, which can be used as indicator of death of modernity, was a temporary crisis, moment of uncertainty. Now the system can reproduce such crises and simulate the presence of rhizome itself.

Keywords: rhizome, technological obsession, information age, hypermodern, virus.

Несмотря на то что интернету уже больше двадцати лет и из утопии о глобальном социализме он давно превратился в антиутопию об информационном мусоре, на него всё ещё принято возлагать надежды по спасению человечества. Многие теоретики также любят сравнивать интернет с ризомой, постструктуралистской концепцией реальности, которая должна была прийти на смену модерну. В этой статье

¹ Дмитрий Бойченко – магистр социологии, докторант философии, преподаватель Европейского гуманитарного университета (г. Вильнюс, Литва).

я попытаюсь предложить альтернативную точку зрения. На мой взгляд, интернет-утопия, действительно, имеет прямое отношение к проекту «ризомы», однако сегодня их объединяет только то, что они подверглись процессам безжалостной реализации и самоустранились. Мы как будто прошли путь от фантазий к реальности: если в «Ближних контактах третьей степени» Стивена Спилберга инопланетяне были неизвестными и загадочными существами, которые похищают людей с непонятной целью, то в фильме Нила Блокампа «Район № 9» инопланетяне уже живут на земле в гетто и являются объектом политических дискуссий.

Рефлексивный погром

Ризома – это в первую очередь легендарный постмодернистский проект. Из всех известных концепций постструктурализма, модель Жюлье Делёза и Феликса Гваттари в большей степени относится к этике. Среди бездны психоаналитических штудий, бесконечного цитирования трудов по биологии и крамольных заигрываний с классической философией в описании «ризомы» нет ничего, что можно было бы назвать воспроизводством чужих теорий. *Тысяча плато* – это опус магнум о новой реальности. Это ещё не мануал, но книга довольно далека и от простой диагностики: Делёз и Гваттари предлагают логику, которая полностью отличается от той, воплощением которой является модерн.

Следует отметить, что текст Делёза и Гваттари о ризоме в достаточной степени абстрактен, чтобы попытки выделить такие важные дискурсивные моменты, как «основная мысль» и «основные тезисы», неизбежно приводили к дебатам. Несмотря на это, само использование текста Делёза и Гваттари в этой статье просто необходимо – их точка зрения очень точно и ясно объясняет, чем мог бы стать интернет ещё двадцать лет назад, но, в силу нижеописанных причин, не стал. Данный текст также является лучшим анализом современных заблуждений по поводу интернета. Дело в том, что радикальный конструкционизм и партикуляризм, о которых пишут авторы, – это главная утопия 1990-х, времени, когда казалось, что технологии могут уберечь человечество от экзистенциальных кризисов, тоталитарных политических режимов и ядерных бомб.

Проще говоря, все попытки вписать интернет в рамки теории о ризоме в лучшем случае ситуативны и субъективны, в худшем – это просто трата времени. Также стоит отметить, что я, в принципе, не верю в то, что эта концепция может найти хоть какое-то применение. Семь лет назад, когда я прочитал о ризоме впервые, мне показалось, что нет ничего более радикального и релевантного. За прошедшее с того момента время я узнал много нового как о современном мире в целом, так и о механизмах интернета в частности, что заставило меня засомневаться в том, что ризома – это не сон. После того как я перечитал книгу Делёза и Гваттари *Тысяча плато*, мне стало понятно, что для информационного века «ризомы» – это

криминально переоценённая концепция. Парадоксально, но насколько полезны такие понятия, как «карта» и «калька» (не так, наверное, как во французском языке, но всё же), настолько же релевантность всего теоретического каркаса имени Делёза и Гваттари подозрительна. То есть я в буквальном смысле не понимаю, чему может соответствовать ризома или для чего именно она может стать целью, однако в данном случае мы будем говорить только о современных информационных технологиях.

Основной фокус критики Делёза и Гваттари – это универсальные закономерности, которые могут быть найдены в любой из сфер западной цивилизации. Реальность центрирована, имеет структуру «дерева» с привилегированной областью «ствола» и пронумерованными частями периферии. Детали упорядочены, стратифицированы, разделены, классифицированы, выстроены. Модерн, капитализм, бюрократия; биология, анатомия, физика – всё это спроектировано, создано и существует в чёткой системе координат, которые детерминированы правилами. Здесь сложно выделить какой-либо отдельный «-изм», так как авторы недовольны сразу всем.

Реальность упорядочивается согласно «плану», называемому Делёзом и Гваттари «калькой» (стандарт, форма, печать, образец), который используется повсеместно.² Калька – это монтажный лист, который навязывает централизованную организацию и не предоставляет возможности как-либо изменять код той или иной структуры. При этом «калька» создаёт структуры, детерминирующие не только пространство, но и время.³ Калька не подразумевает каких-либо трансформаций, но создаёт мир, в котором будущее возможно калькулировать. Иными словами, «калька» – это пособие по моделированию, в котором детали, органы или слова обладают характеристиками и чётким предписанием. Учитывая то, что создатели этой теории, как и любые постструктуралисты, постоянно говорят о языке, «кальку» можно рассматривать как универсальный словарь, а точнее – его последнее издание в твёрдом переплёте с пометкой *Premium edition*, которое обновляется ежемесячно.

Одна из центральных идей Делёза и Гваттари – уничтожение дуальности.⁴ Капитализм является системой отбора, который подчиняется двоичному коду: никаких замен и полумер, только «да» или «нет». Подбор компонентов – это процесс сортировки на сегменты. Сообщества, группы, нации – всё это результат отбора с двумя критериями: «соответствие» и «не соответствие». В обществе – диплом или стигма, на рынке – товар или брак. Здесь нет сферы, которая оказалась бы непоражённой: система универсальна и имманентна. Капитализм в их понимании строится на конвенциях: означаемое имеет чёткое означающее, связь между ними – легитимность, а

² Делёз Ж., Гваттари Ф. *Тысяча плато: капитализм и шизофрения*, Москва: Астрель 2010, 22.

³ Там же, 25.

⁴ Там же, 32.

санкция за несоответствие – исключение. Последняя находится на любом физическом, ментальном или габитуальном носителе: в учебнике по биологии, традиционных ценностях или примерном поведении. Всё может быть приравнено одновременно и к уголовному кодексу, и к книгам об экзотических рептилиях. Дуальность производит сегрегацию, трансцендентность, привычку выносить за скобки, отделять, эмансипировать. Ризома в этом случае – это альтернативный онтологический принцип, критика легитимности. Делёз и Гваттари предлагают альтернативную модель взаимосвязей и закономерностей – «карту»:

«В противоположность графическому изображению, рисунку или фотографии, в противоположность калькам, ризома имеет дело с картой, которая должна быть произведена, сконструирована, всегда демонтируема, связуема, пересматриваема, модифицируема – во множественных входах и выходах со своими линиями ускользания»⁵.

Карта – это не паттерн, но свободное исследование, творческое конструирование, основная цель которого состоит в пренебрежении клише модерна. «Кальку» необходимо использовать, а «карты» читать. В свою очередь чтение – это процесс производства индивидуальных смыслов (я искренне, кстати, считаю, что метафора карты и её значение – это лучшее, что есть во всей книге *Тысяча плато*). Делёз и Гваттари настаивают на том, что карта – это не начало конструкционистского произвола, но новая гибкая модель, в которой пространство и время не являются запрограммированными переменными. Дуальность «порядок/беспорядок» может быть обменена на «креативный беспорядок» (впрочем, не факт, что он не окажется «креативным разрушением»). Материал для создания новой модели в этой теории обозначен как «плато»:

«Мы называем Плато любое множество, соединимое с другими посредством близких к поверхности подземных стеблей так, чтобы формировать и распространять ризому»⁶.

Детали здесь взаимозаменяемы, модифицируемы и являются основой того, что можно было бы назвать «модульной структурой» – системой, которая может функционировать в различных конфигурациях, её скелет может обладать съёмными конечностями.

Делёз и Гваттари говорят о том, что культура устала от централизованных систем: «калька» слишком долго выступала центральным объектом всего реального, а значит, ей необходимо найти достойную замену. Так, Жан-Франсуа Лиотар, рассуждая о состоянии постмодерна, отмечает, что метанарративы дискредитируют сами себя, усложнение и дробление элементов в каждой из сфер делают универсальные подходы бесполезными:

⁵ Делёз, Гваттари, указ. соч., 38.

⁶ Там же, 39.

«Чем пытаться выстраивать картину, которая всё равно не может быть полной, мы будем отталкиваться от характеристики, непосредственно определяющей наш предмет»⁷.

Во многом постструктурализм в интерпретации Делёза и Гваттари – это поле борьбы с легитимацией, в котором авторы, преодолев клише универсального кода, выводят текст в сферу политического. С одной стороны, это взлом искусственной природы границ, разрушение, с другой – беспорядочное производство значений, приводящее к коллапсу ограниченных дискурсов модерна сфер. Единственный путь борьбы с модерном здесь – создание множеств неподчинённых какой-либо вертикальной интеграции сегментов.

Если граница между политическим и социальным нарушается, то каждый из феноменов, произведённых в рамках той или иной парадигмы, становится уникальным, а его обозначение – дискурсивным, ситуативным и вариативным. Так, «карта» – это исследование, в котором у значений нет ни пространственной, ни временной фиксации.

«Ризома – это антигенеалогия. Это кратковременная память или анти-память. Ризома действует благодаря вариации, экспансии, завоеванию, захвату, уколу».⁸

От консервативности мы переходим к трансэстетике и транссексуальности, нарушению связей и закономерностей и трансформации различных типов идентичностей, приводящих к индивидуализации и непредсказуемости.

Форма и содержание книги о «ризоме» в максимальной степени сближены: книга заканчивается каждые две страницы, а начинается – каждые три. При этом через каждые десять страниц в тексте появляются новые объекты для интеллектуальной ненависти. Сами авторы считают книгу прототипом «ризомы»: «Мы лишь использовали слова, функционировавшие для нас как плато»⁹. Здесь может быть найден и ещё один смысл: для того чтобы описать суть проблемы, нельзя останавливаться ни на одном партикулярном феномене. Капитализм присутствует везде, как ДНК. Соответственно, цель проекта ризомы – деформировать и заместить его в каждом из топосов, переписать ДНК, а следовательно, сомнению должен быть подвергнут не какой-то конкретный институт, а весь мир.

Ролан Барт, говоря о смерти автора, пишет о похожей ситуации в литературе: произведение как когерентная культовая форма прекращает своё существование. По сути, «смерть автора» – это победа текста над субъектом и творчества над автором и, что немало важно, коллективного письма над индивидуальным письмом. В

⁷ Лиотар Ж.-Ф. *Состояние постмодерна*, Москва: Алетейя 1998, 15.

⁸ Делёз, Гваттари, указ. соч., 38.

⁹ Там же, 41.

свою очередь Делёз и Гваттари отзываются о книге как о целостном произведении, определяют её как идеал кальки:

«Будучи культурной, книга с необходимостью является калькой, калькой самой себя, калькой предыдущей книги того же автора, калькой других книг, какими бы разными они ни были, нескончаемым копированием тут и там, концептов и слов, копировкой настоящего прошлого или будущего мира»¹⁰.

Ролан Барт пишет о требованиях сюрреализма к смыслу как основе текста, противостоящего произведению:

«...(О)н требовал, чтобы рука записывала как можно скорее то, о чём даже не подозревает голова (автоматическое письмо), он принимал в принципе и реально практиковал групповое письмо – всем этим он внёс свой вклад в дело десакрализации образа Автора»¹¹.

Таким образом, концепция «смерти автора» является тем самым критическим ракурсом, который позволяет избавиться от автора и произведения, а значит, и от кальки в книжной сфере.

Что касается языка, то постструктуралисты совершенно точно предсказали его вирусное состояние в современных сетевых обществах. Как мы увидим ниже, с потрясающей чёткостью Делёз и Гваттари также описали основные фантазии начала эпохи информационных технологий. Однако к концу нулевых выяснилось, что от ситуативности языка пользы немного, и я не говорю здесь о стагнации правописания и отсутствующих языках (в этом скорее следует винить школу). Дело в том, что, после того как книга перестала стоять в одном семантическом ряду с «законом» и «правителем», значимость языка свелась к коловращению смыслов, а его креативная функция снабжает отныне не бестселлеры, но локальные форумы. Децентрализация литературы, безусловно, состоялась. Проблема здесь заключается в том, что трансформация реальности посредством языка, фрагментация, вызванная контркультурными движениями в обществе всеобщей «никому ненужности» и «никому ни в чём не обязанности», привели к тому, что язык теперь тоже никому ничем помочь не может. Он не выполняет революционную функцию, но с его помощью пишется научная фантастика о революциях.

С технологиями ситуация сложнее: миф о технологиях будущего изначально подозрительно походил на представление постструктуралистов о «ризоме» и «конце письма». Однако то, с чем мы имеем дело в реальности, довольно сильно отличается от жизни после модерна. Скорее это напоминает обновлённый и модифицированный модерн, его технологическую мутацию.

¹⁰ Делёз, Гваттари, указ. соч., 42.

¹¹ Барт Р. 'Смерть автора'. В: *Избранные работы: Семиотика, Поэтика*, Москва: Прогресс 1989, 386.

Linux, природа и хирургия

Ричард Столлман до сих пор не пользуется кредитными карточками и искренне верит в то, что пользователи сами должны разрабатывать для себя софт. Столлман старается радикально дистанцировать себя от современного технологического мира. Он не использует мобильные телефоны, считая их устройствами, созданными для слежения, ненавидит слова «патент» и «контент» и говорит о необходимости отдать под суд всех представителей и создателей ВТО как лиц, виновных в массовых убийствах. Именно он создал операционную систему *GNU + Linux* – проект, у которого нет ни пользователей, ни разработчиков, или, точнее, не существует такого разделения. Концепция развития технологий Столлмана больше всего похожа на тот подход к социальным отношениям, который мы можем найти у Марселя Мосса: центром должен стать систематический обмен дарами. Столлман называет четыре принципа «свободного» программного обеспечения: «Это свобода выполнять программу в любых целях, свобода изучать её код, свобода делать копии и передавать их другим и свобода распространять изменённые копии»¹². Софт для него приравнивается к свободе слова, свободе самовыражения.

В то время когда персональные компьютеры разрабатывались в гаражах, а *Hewlett-Packard* продавала калькуляторы, считая их венцом технологической мысли, будущее ИТ выглядело примерно так, как его представлял Столлман. В компьютере *Apple II* была предусмотрена крышка для того, чтобы каждый пользователь мог открыть её и поменять внутренности. В конструкции компьютера *Mac* такая крышка уже не предусмотрена, а сегодня, чтобы получить полноценный доступ ко многим устройствам, их надо взламывать.

В девяностые, когда окончательно прояснилось, что XXI век – это век технологий, стало модно писать академические тексты о том, что интернет – это самое важное изобретение конца XX века. Так, в 1999 году вышел сборник статей под редакцией Барри Хэга и Брайана Лоадера *Цифровая демократия: Дискурсы и принятие решений в цифровой век*, в котором довольно чётко и ясно описаны те ожидания, которые возлагались на интернет перед появлением социальных сетей. По мнению авторов этой книги, интернет – это технология, способная радикально изменить западный мир. Перспективы здесь две – утопическая и дистопическая. В центре утопии – создание открытых комьюнити и эволюция кооперации; в центре дистопии – рыночный тоталитаризм, который включает в себя надзор, экономизацию, бюрократизацию и корпоративизацию.¹³

¹² Интервью с Ричардом Столлманом; см.: <http://www.kommersant.ru/doc/1849318/print>.

¹³ Hague B., Loader B. Digital democracy: an introduction. In: B. Hague, B. Loader (eds) *Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the*

В 1990-е новые технологии являлись перспективной технологией, к которой только присматривался капитализм. Инновации в этой сфере были объектом поклонения технологических хиппи, которые искренне верили, что уже через десять лет в новостях объявят, что микросхемы в качестве замены органов стали вполне легальными. Так, Столлман верил в то, что он выступает прототипом человека будущего; в итоге технологии начали продаваться лучше, чем мышеподобные люди, а он превратился в образцово-показательного маргинала, который даёт занимательные интервью и, видимо, немало веселит представителей силиконовой долины. Очевидно, всё дело в том, что те максимы о распространении программного обеспечения, которые Столлман регулярно озвучивает, являются антирыночными. Благодаря этому всё, что у него есть для современных разработчиков аппаратного и программного обеспечения, это святая ненависть.

Суть здесь в том, что именно программирование в частности и информационные технологии в целом изначально располагали к тому, чтобы идеи Делёза и Гваттари стали чем-то большим, чем просто текстами. Такие люди, как Столлман, хотели воплотить принципы ризомы в современной жизни. Те модели распространения и производства продуктов, которые были предложены многими идеологами технологий, в том числе и главным инженером *Apple* Стивом Возняком, появились в то же самое время, когда Лиотар вместо программной статьи для правительства создал манифест постмодернизма. Более того, в 1970-е представители субкультур и программисты были озадачены тем же, чем и философы, – трансформациями, поисками альтернативных моделей осмысления и изменения мира. Основным инструментом для них являлись технологии, а масштабом – планета Земля. В 1990-е технологическая obsессия получила своё второе рождение: после первой волны популяризации интернета стало понятно, что всё то, о чем говорили в семидесятых, становится реальностью.

При этом пафос технологической эпохи, само собой, не ограничивается изобретением компьютера. Технологическая obsессия – это процесс сверхдетерминации в том виде, в каком его описывает Луи Альтюссер, то есть безумное количество событий, которые указывают нам на то, что в мире происходят изменения.¹⁴ Каждое из этих событий в отдельности – ничтожно, но вместе они производят эффект лавины камней. Говорить о наступлении технологической эры крайне сложно, когда на компьютеры можно посмотреть на выставках, о них сложно молчать, а сенсоры и микросхемы перемещаются внутрь бытовых предметов. Помимо этого, первая мечта о глобальной сети интернет, безумное количество *Sci-Fi*, бум татуировок и пирсинга (как доказательство модульности тела), изобретение дисторшна, экономический успех электронной музыки в частности (Gary Numan, Kraftwerk) и индустриальная революция в

Information Age, London: Routledge 1999.

¹⁴ Альтюссер Л. *За Маркса*, Москва: Практикс 2006, 144.

музыке в целом (Throbbing Gristle) – всё это произвело критическую массу контркультур, половина из которых заслужила приставку «кибер-». Сложно представить, например, количество технологических инсталляций, которые произведены в рамках парадигмы «современное искусство». Популярность технологического фетиша оказалась безусловной, а количество теорий о неотвратимо наступающем будущем в буквальном смысле зашкаливало. Единственное, что представляет здесь методологическую сложность, – понять, кому, помимо политиков, в это время по-настоящему нравились модерн, нации и порядок.

Многие фанатики верили не просто в креативную мощь общества будущего, отношения в котором не помножены на деньги и предметы роскоши, но в пришествие новой глобальной религии. Фактически, многие технологические фанатики – личности отчаянно-религиозные (при этом не ясно, первая или вторая часть прилагательного здесь важнее). Так, Марк Дерн пишет о техно-йиппи – технологических фанатиках, людях, которые молились на искусственный разум, считая кибернетику в частности и технологии в целом творением божества, богом из машины.¹⁵ Последовательность высказываний в символическом универсуме этих людей такова, что современное и единственное правильное божество – это изобретение человека. Если присмотреться, то здесь можно разглядеть изменённую до неузнаваемости теорию креационизма: развитие технологий – единственный разумный исход человеческой расы. Техно-йиппи, соответственно, обитали совершенно в других координатах: по их мнению, Бог создал человека не просто так, а для того, чтобы последний произвёл машину. Таким образом, бытие человека имеет совершенно чёткую телеологию – воссоединиться с Богом, изначальным конструктором.

Таким образом, с точки зрения технофанатиков, наночипы не входят в противоречие с природой, но являются её уникальным дополнением. Ландшафт будущего – не мир тоталитаризма корпораций, но реальность, где человек, природа и технология представляются неразличимым целым. Функция человека здесь – развитие технологий и последующее объединение с ними всех сфер деятельности, включая самого человека. По идее технократов 1990-х, человек в состоянии производить не просто нечто органическое, так или иначе приводящее к круговой репродукции, но экспериментировать с собственным геномом. Исходя из этих теорий, высшая стадия развития технологий связана с расшифровкой всех тех кодов, которые представлены в биологии, и их творческим объединением с программированием и инженерией.¹⁶

Ирония в том, что такой критический ракурс подозрительно напоминает рассуждения Делёза и Гваттари о теле. Авторы утверждают, что в самом по себе человеческом теле нет ничего особенного,

¹⁵ Дерн М. *Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков*, Москва: Ультра. Культура, АСТ, У-Фактория 2008, 88.

¹⁶ Дерн, указ. соч., 100.

вся проблема в подходе к нему: оно поделено на органы, предназначение которых известно, а болезни изучены.¹⁷ Здесь авторы критикуют современную реальность не за то, что она реифицирована или её смыслы излишне редуцированы, но за то, что повсеместные реификация и редукция приводят к тому, что знание об этой реальности оказывается в эпистемологическом тупике. Проблема, ещё раз, не в том, что тело состоит из органов, а в самой медицинской справке, больничной карточке. Именно теория в этом смысле не даёт человеку развиваться полноценно: за всё отвечает экспертное знание – безумное количество отчуждённых инстанций, каждая из которых знает об организме больше, чем пациент. Человек становится устройством, любое персональное вмешательство в функционирование которого приравнивается к варварству и жёстко пресекается. Как и в случае с любым смартфоном, тело, подвергнутое самолечению, не подлежит гарантийному обслуживанию.

Если биология приравнивается к теории архитектуры (а она приравнивается), то, по неумолимой логике самих же Делёза и Гваттари, единственным будущим может быть только открытое хирургическое вмешательство – модификация человеческого организма, физическая кастомизация тела. Таким образом, метафора ризомы-текста становится ризомой-реальностью. Технологию нельзя отключить, когда роль топлива выполняет кровь. Человек должен присвоить технологию не финансово, но биологически. Имплантат – это не товар, но орган. Должна исчезнуть грань между аппаратным обеспечением и плотью, точно так же, как она отсутствует в сознании новых йиппи. Технология здесь – это единственное правильное будущее природы, её развитие.¹⁸

Однако, как я покажу ниже, мечты о ризоме и технической религии реализовались внутри той системы, для разрушения которой они были предназначены. Так, Мария Пини пишет о танце рейв как о практике технологической obsessions.¹⁹ По её мнению, именно с помощью этого танца женщина может восполнить то, что ей недоступно в повседневной жизни. Однако в описании Пинни есть факты, на которых автор почему-то не акцентирует внимания: несмотря на всю ярость протеста, люди, которые любят танцевать рейв, больше не делают этого ни у себя во дворе, ни на школьных площадках, но лишь в отгороженных от внешнего мира решётками зонах с охраной, под презрительными взглядами прохожих.

Как часто случается с любым изобретением (произведением, композицией), которое после долгих лет существования в условном андеграунде по каким-либо прямым или косвенным причинам ста-

¹⁷ Делёз, Гваттари, указ. соч., 264.

¹⁸ Я не согласен ни с мнением Делёза и Гваттари, ни с технологическими фанатиками и не сожалею, что ничего из (пред)сказанного ими не произошло. В данном эссе я сравниваю идеологии технологического века, чтобы показать, как изменились технологии и их восприятие за последние тридцать лет.

¹⁹ Pini M. 'Cyborgs, Nomads and the Raving Feminine.' In: H. Thomas (eds.) *Dance in the City*, New York: St. Martin's Press 1997, 115.

новится релевантным в планетарном масштабе, утопии ризомы и природной технократии превратились в тренды. «Ризому» в итоге переименовали в «сеть», а из технологий сделали новый неподражаемый модерн.

Необходимые аксессуары

Поль Вирилио довольно скептически относится к термину 'постмодерн', предпочитая ему «гипермодерн», и просит причислять его не к постструктуралистам, а к католикам. При этом у гипермодерна больше общего с концепцией рефлексивного модерна Энтони Гидденса, чем с большинством теорий постмодерна и постмодернизма: и Гидденс и Вирилио говорят о продолжении развития логики модерна. Если бы Гидденс уделял больше внимания технологиям и писал на языке метафор и преувеличений, то у него вполне могла бы получиться концепция гипермодерна. Наиболее очевидное отличие состоит в оценке происходящего: Гидденс верит в рефлексивность, Вирилио искренне ненавидит всё, что связано с современным миром (неудивительно, что названия значительной части его книг похожи на серию фантастических романов о конце света).

По мнению Вирилио, мало того что мы не исчерпали все ресурсы модерна, мы находимся на одной из самых значимых стадий конфронтации этой эпохи (антагонизм по Вирилио – это главный исторический двигатель). Вполне возможно, что это происходит потому, что Вирилио – своего рода технологический детерминист, теории которого, по его собственным словам, выступают реакцией на повсеместный технологический фундаментализм современного модерна. Для Вирилио, век технологического фундаментализма в территориальном смысле – это время войны за город, где власть, технологии и геометрия делают пространство прозрачным и контролируемым.²⁰

Один из основных тезисов Вирилио в отношении технологий сводится к тому, что мы живём в эпоху рассвета технологий, в том смысле, что только и делаем, что регулярно потребляем технологические товары. Киберфеминизм (так Вирилио называет феминизм, развивающийся в рамках цифровой демократии) в этом случае – это не заслуга биоинженерии, а триумф маркетинга. В этом смысле любой гаджет является результатом подмены: нечто, что преподносится как *life companion*, оказывается часами, способными будить по утрам голосом гувернантки. В результате мы встречаем не индивида технологической эры, но технологизированного субъекта: вместо того чтобы присваивать, улучшать и адаптировать технологии, человек оказывается зависимым от мира гаджетов, который функционирует как неизвестные формы жизни.²¹ Человек

²⁰ Armitaje J. Interview with Virilio, *Theory, Culture & Society*, 16 (1999), 25–55.

²¹ Ibid., 51.

не подчиняет себе цифровую реальность, он учится жить в мире, где технологии слишком сложны для того, чтобы принцип их работы был понятен, и слишком банальны для того, чтобы от них отказываться. При этом потребительский мир информационных технологий с каждым финансовым кварталом становится больше и детальнее. Сначала звонки, СМС, передача фотографий, потом потоковое видео, геолокационные сервисы... В 2011 году при помощи мобильных телефонов стало возможно производить и оплачивать товары и услуги. Потребитель никак не участвует в развитии тех или иных разработок (не называть же *feedback* участием). Плюс к этому политика ИТ-индустрии сегодня во многом сводится к стандартам, которые в юридической сфере известны как патенты: обочечные корпорации США окружены юристами точно так же, как китайская фабрика-город *Foxconn* охраной. По сути, человечество не живёт в технологическом мире. Последний существует параллельно, а весь пафос антропологии съёживается до понятия «пользователь». Идентичность «пользователь» – это своеобразный аксессуар, который можно купить в магазине.

На мой взгляд, основная проблема здесь в том, что технологический мир действительно стал гибким, но в рамках прежней логики. Дело в том, что гибкость – это то, чем занимаются логисты и менеджеры, которые в свою очередь делают всё, чтобы система не развивалась спорадично и хаотично. Более того, ИТ не препятствуют, но способствуют тому, чтобы модерн не превратился в ризому – технологии оптимизируют, контролируют и помогают в эволюции модерна.

Как и предсказывал Дэниел Белл, мы живём в эпоху постфордизма, когда значительная часть экономики состоит из сервисов. Как и предполагал Лиотар, сегодня ИТ крайне востребованы и используются для производства знания, которое после конца метанарративов становится критически важным для функционирования сетевого общества. Таким образом, мы не можем называть его ни ризоматичным, ни модульным. Ризоматичность – это идея, появившаяся благодаря тому, что структура модерна проржавела, а ИТ – сила, которая помогает привести в порядок то, что не смогли сделать ни телевизор, ни президенты. Так, Дэвид Лион пишет о новом цифровом надзоре, основанном на бесконечном сканировании информации. Таким образом, вопреки идеям Столлмана, ИТ выступают своеобразной гарантией того, что модерн не прекратит своё существование.

«Ризома» (технологическая или иная) – это триумф свободного программирования реальности. Ни одно из этих слов, на самом деле, не в состоянии описать то, что происходит сегодня как с компьютерными сообществами, так и с обществом в целом. По сути, ни ризома, ни плато не могут иметь ничего общего ни с внутренней системой корпоративной структуры, ни с её внешним проявлением, поскольку ризоме в равной мере чужды и бюрократия, и рынок. Не удивительно, что и всё то, что может быть произведено

в этой структуре, также не отвечает принципам ризомы. Именно поэтому все референции, которые делает, например, Мануэль Кастельс по отношению к концепции «ризомы» Делёза и Гваттари, не следует воспринимать буквально.²² Делёз и Гваттари являются философами, для которых любая иерархичность выступает наследием модерна, и его следует рассматривать исключительно негативно. В свою очередь Кастельс описывает современное состояние информационного общества, обладающего своей собственной иерархией. По сути, информационное общество – это запрограммированная ризома или мимикрирующая двоичная система.

При этом для превращения ризомы в сеть существуют объективные причины. Как пишет Зигмунт Бауман, практически каждое западное национальное государство переживало кризис идентичности, поскольку глобальные потоки нивелировали значимость локальных производителей и дистрибьюторов.²³ Именно в этот момент началась стихийная мобилизация обществ, которые открыли для себя глобальные бренды и дешёвые билеты на самолёт. Именно это явилось причиной того, что централизованная модель разработки превратилась в доминирующую: ни одна независимая компания не может обслуживать такое количество людей одновременно. Если бы у истоков информационной эпохи стояли инди-разработчики, которые сторонятся больших альянсов и масштабных проектов, сегодня мы жили бы во фрагментированном и хаотичном мире. В каком-то смысле именно в этом вопросе спрос определил предложение: коммуникация в глобальном виртуальном пространстве, о которой мечтали все, от хиппи до президентов, – довольно дорогой универсальный проект. Парадигма общества глобальной солидарности стоит такое количество денег, что она просто не может не быть основана на принципах, базовых для общества потребления.

Любой из производителей считает своим долгом сообщить, что его цель – создание экосистемы, то есть бесшовного соединения облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения. Сеть в данном случае – это объединение пользователей, разработчиков и корпоративных сотрудников, которые организованы вокруг технологий (определение Кастельса). Для разработчиков существуют инструменты и магазины приложений, для пользователей – многочисленные сервисы, для сотрудников – корпоративные сети, которые создают виртуальные окружения рабочих мест. При этом любой поход против правил рассматривается как ошибка. Сеть сегодня – это огромная горизонтальная структура, координация которой может быть описана в терминах теоретиков позднего модерна. И главное здесь – прогнозирование, подсчёт времени, видение будущего, которое способствует внедрению механизмов

²² Кастельс М. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*, Москва: ГУ ВШЭ 2000, 123.

²³ Бауман З. *Глобализация. Последствия для человека и общества*, Москва: Весь Мир 2004, 99.

«динамического изменения». Многие ошибочно называют динамику проявлением спонтанности или случайности, на деле – это цепь событий, в которой не может быть ни того, ни другого.

Технологии сегодня – это контролируемое развитие, повсеместная победа централизованной разработки. Даже внешние и, казалось бы, совершенно не относящиеся к делу PR-акции, которые принято называть вирусной рекламой, являются прямым доказательством того, что спонтанность – это не самый популярный жанр на сегодняшний день. Современная вирусная реклама отрицает саму суть спорадичности – она только выглядит как спонтанность, но на деле является программой, которая не располагает ни к творчеству, ни к эксперименту. Это запрограммированная, сконструированная реальность, многомиллионный проект, притворяющийся *indie*-идолом. В нормальной ситуации вирус убивает, в нашей – создаёт миллиардеров.

Дело не в том, что общество имеет право знать о секретах ИТ-корпораций (в конце концов, есть много других секретов, о которых многие знать даже не хотят), но в том, для чего предназначены эти устройства и чего хотят потребители. Любая разработка, в рекламной кампании которой слово «интеграция» является ключевым, – это запланированный шаг к идеальному ИТ-миру. Каждый смартфон – это локальный проводник ценностей, централизация которых составляет то, что сегодня называется *Twitter*-поколением.

Технологии полностью повторили восхождение любого другого изобретения: появились заинтересованные инвесторы, технологии получили национальность и обзавелись официальной культурой. Когда стало ясно, что технологии нужны всем, а компьютер – это такой же повседневный предмет, как и автомобиль, но в сотни раз сложнее и тысячу раз перспективнее, пришло понимание того, что произошло замещение: вместо поклонников постструктурализма в этой истории главные роли стали играть поклонники постфордизма. Дизайн и производство разделили между собой США и Китай, а основной аудиторией назначено человечество.

При этом открытые разработки всё ещё с нами, однако их роль в значительной степени изменилась. Так, для большинства разработчиков (включая независимых) основной заработок приносит снабжение экосистем *Google*, *Apple* и *Microsoft* инновационными и релевантными приложениями. Всё, что сегодня не входит в эту тройку, либо умирает, либо отчаянно мимикрирует. Так, компания *Oracle*, отлично понимая бесперспективность стихийной ризоматичной разработки, последние несколько лет превращает *Ubuntu Linux* в операционную систему для массового потребителя. Разработка бесплатного дистрибутива *Mandriva* завершилась в 2011 году из-за недостатка средств, а все остальные разработки в этой сфере не имеют какой-либо культурной значимости. Таким образом, многие идеологи свободного программного обеспечения хотели изменить мир, но в итоге испытывают трудности с адаптацией на рынке.

Коммерциализация *Linux* являет собой наиболее наглядный пример того, что произошло с идеями технологических евангелистов ИТ. В 1991 году Линус Бенедикт Торвальдс написал о том, что разрабатывает бесплатную операционную систему (ОС). В основе идеологии этой ОС заложена идея коллективной разработки: программисты со всего мира расширяют и модифицируют эту систему, не подчиняясь каким-либо рыночным закономерностям или корпоративным правилам, – в теории, у каждого сообщества мог бы быть свой *Linux*. Сегодня *Linux* действительно используется именно так: существуют независимые ОС, которые используются довольно ограниченными комьюнити разработчиков. Однако *Linux* также стал основой для новой рыночной войны: перед компаниями, которые хотят выйти на рынок операционных систем, не стоит вопрос, как с нуля разработать свою ОС, вместо этого они берут *Linux*, модифицируют его и продают. Так, все операционные системы компании *Google* основаны на *Linux*, при этом по крайней мере одна из этих систем ежегодно приносит миллиарды долларов. В итоге, *Linux* явился основой для большого количества альтернативных операционных систем, которые играют по общим рыночным правилам, – *Microsoft, Apple* и *Google*.

Можно сказать, что авторы ризомы и технологические фанатики конца прошлого века были излишне доверчивы к духу времени. В определённый момент, действительно, могло показаться, что система модерна дала сбой, а технологии являются началом нового этапа развития западной цивилизации. Однако здесь мы можем скорее говорить о запрограммированном сбое или ненастоящей катастрофе. Так, например, Жан Бодрийяр, говорит о том, что проблема системы является её структурной частью. Ни поломки, ни катастрофы не имеют значения, так как система всегда рассчитывает на их появление или же сама их создаёт. Само собой, гипотетически, существуют проблемы, возникновение которых никто не предполагал, однако они скорее подтверждают теорию о том, что случайности и бедствия являются частью системы.

Speak to me of universal laws

Жан Бодрийяр в меньшей степени является лингвистом, в большей степени – реинкарнацией Маркса и поклонником Мосса. Главное достижение его ранних работ состоит в том, что от Соссюра он взял только зажим «означающее/означаемое», но вовремя забыл о нём где-то между фразами «конец реальности» и «конец политической экономики». Таким образом, Бодрийяр скорее заимствует лингвистический принцип, но не саму лингвистику, что позволяет ему не путать эволюцию и трансгрессию. Позже он, правда, отказывается и от лингвистики и от марксизма, провозглашая конец релевантности этих наук.

Практически во всех своих книгах Бодрийяр говорит об универсальных системных закономерностях. В отличие от Делёза и Гват-

тари, Бодрийяр не описывает модерн как систему повреждённую или неактуальную и в минимальной степени стремится к созданию этических установок. По его мнению, поклонение структурному коду привело к тому, что система поглотила все амбивалентные элементы и поэтому обречена работать вхолостую (то есть де-факто любая попытка создания ризомы уже является симуляцией).

Бодрийяр, далее, говорит о том, что реальность не в упадке, наоборот – она на пике своего развития, она превратилась в гиперреальность. Система не просто функционирует или развивается, но она усложняется и расширяется до немислимых размеров. Перепроизводство приводит к внутреннему расколу, разрыву всех мыслимых конвенций, потере золотого стандарта, эпохе всеобщей безответственности – всё это свидетельствует о смерти эквивалентности в любом её виде.²⁴ При этом конец универсальных механизмов отнюдь не ведёт к коллапсу самой системы, но лишь к коллапсу её логики. Процесс развития системы не прекращается, он просто становится неконтролируемым. Для интерпретации этой ситуации Бодрийяр использует метафору «вируса», однако спорадическое заражение, по его мнению, связано не с беспорядочными действиями, но с одержимостью рациональных процессов.²⁵ По Бодрийяру, мы не забыли о рациональности, но более не можем её контролировать. То есть речь здесь идёт не о ризоме, но о странной, мутировавшей модели модерна. Бодрийяр говорит не о хаосе и беспорядке, а об аномальном функционировании дискурсов, одержимости системными механизмами. Так, напр., когда он начинает рассказывать о городе, в его дискурсе появляются метафоры абсолютного контроля, а когда речь заходит о субъекте, он указывает на радикальную фрагментацию общества.²⁶ Здесь важно понять, что если в среде знаков нет больше ни любви, ни ненависти и всё напоминает огромную трансэстетическую метафору сюрреализма, то изнутри эта бушующая масса состоит из процессов деления и умножения. Так микромир победил макромир. Таким образом, с одной стороны, нет человека, который сделал для внедрения теории хаоса в гуманитарные науки больше, чем Бодрийяр, с другой – нет человека, который лучше описал бы *big picture* математической одержимости.

Одержимый информационными технологиями западный мир являет собой один из лучших экземпляров подобной одержимости. В этой сфере существует безумное количество закономерностей, следствий, прозрений и революций различного масштаба. Однако, учитывая количество прецедентов и закономерностей (а также статей и мнений по их мотивам), которые довольно сложно сопоставить, сравнить или даже проинтерпретировать, также сложно понять, о каком типе (или виде?) порядка (порядка ли?) идёт речь. Где здесь, напр., должна начинаться кривая нормального распре-

²⁴ Бодрийяр Ж. *Символический обмен и смерть*, Москва: КДУ 2009, 34.

²⁵ Бодрийяр Ж. *Прозрачность зла*, Москва: Добросвет 2000, 11.

²⁶ Бодрийяр, *Символический обмен и смерть*, указ. соч., 52.

деления, как создать «нормальное распределение», если и прилагательное и существительное в этом словосочетании явно претендуют на универсальный статус?

В конце концов, создание огромной индустрии практически с нуля менее чем за тридцать лет свидетельствует о том, что системные механизмы всё ещё актуальны. «Карта», конечно, существует, но её местоположение крайне сложно локализовать, а если её всё-таки удалось локализовать, то стоит признать либо её уникальность, либо маргинальность. Когда для придания феномену значимости необходимо получать гранты на исследования и ездить по миру с презентацией книги, значит, мы автоматически оказываемся включены в создание этой значимости, которая довольно сложно масштабируется (даже если она станет сенсацией). С коммерческой индустрией ничего доказывать не надо – за неё говорят биржа и рынок, и на них не надо специально обращать чьё-то внимание. И если о бирже сложно говорить как о чём-то в действительности релевантном, то рынок функционирует по законам единственной настоящей статистики – статистики продаж, которая сама по себе крайне не постоянна, как и вирус самой системы. Проще говоря, об инди-разработчиках и инди-комьюнити много и красиво пишут в инди-изданиях, но говорить о том, что это они определяют эпоху, довольно затруднительно.

Таким образом, современный модерн основан на маниакальной микрофизике, в которой запрограммировано всё, включая вирусы. Вирус – это либо программа, способная уничтожить компьютер (а значит, она пропитана рациональностью), либо рекламная кампания (которая не может быть нерациональной по определению). На мой взгляд, именно возможность притворяться случайностью и является наиболее ясным показателем здоровья той или иной системы. Возможность притворяться ризомой делает интернет романтическим источником вдохновения. Так способность симулировать катастрофы при помощи медиа осталась с нами навсегда: летальность или фатальность системы – это её неотъемлемая часть.